

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

ОТ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
К
КУЛЬТУРЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МИРОВ:
НОВАЯ ПАРАДИГМА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сборник статей

Москва



1998

СОВЕТСКАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СЛУЧАЙ ПИСЬМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В. А. Шкуратов, О. В. Бермант

Ростовский государственный университет

Тема статьи навеяна двойной реминисценцией. Н. Бердяев называет советский коммунизм идеократией, властью идеи. Отталкиваясь от этой формулы, французский советолог А. Безансон ввёл понятие логократии, власти письменного слова:

Перед приобретением власти, — писал он, — партия обрела устойчивость посредством идей. Поэтому, очутившись у власти, она спланировала идеократию. Но по мере того как «реальная» реальность всё больше и больше отличалась от воображаемой реальности, идеи становились пустыми и сохраняли только словесную оболочку. Режим эволюционировал в логократию [1, с. 20].

От интеллигентских исканий к тотальному просвещению

Публицистические обобщения русского философа и французского советолога легко дополнить более общими историко-культурными соображениями. Своими главнейшими прерогативами власть в России по крайней мере с XVIII в. считает просвещение и модернизацию. Связка власть-знание оборачивается так, что временами государство определяет свой *raison d'être* надобностью распространения новых идей и более правильной жизни среди населения. Правда, в XIX в. с нею начинает конкурировать интеллигенция. Главное орудие классического просвещения — письменное слово — развивается в канцелярско-бюрократической и литературной разновидностях. Чем громче голос свободных муз — тем выше авторитет их служителей. В пореформенный период на фоне официального сословного порядка вырисовывается и другая конфигурация: власть—интеллигенция—народ. Эту конфигурацию едва ли можно назвать социальной, поскольку интеллигенция — не столько профессиональная, политическая или управленческая группа,

сколько духовно-идеологическая общность. Явление такой общности есть двойной результат государственного просвещения и недостатка административной компетентности в модернизации страны. Интеллигенция составляет клуб для обсуждения «вечных вопросов» и текущей политики.

Дальний эффект такого времяпровождения возникает из культивирования свободного неподцензурного слова. Сила интеллигенции, как известно, в броской, искусно сформулированной критике. Так устанавливается среда альтернативного письменного сознания, которое в ретроспективе воспринимается в единстве с наиболее значительным своим продуктом, литературой. Повсеместная до XX в. чёткая разделённость цивилизации на книжную культуру образованных слоёв и народную культуру полуграмотных и неграмотных низов города и деревни усугублялась в России поляризованностью элиты. Только в преддверии великого бунта, «бессмысленного и беспощадного», некоторые теоретики интеллигенции стали апеллировать к единству двух ветвей просвещения.

...на Западе мирный исход тяжбы между народом и господами психологически возможен: там борьба идёт в области позитивных интересов и чувств, которые естественно выливаются в форму идей, а раз такая формулировка совершилась, главной ареной становится индивидуальное сознание... Между нами и нашим народом иная рознь. Мы для него не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье. Он не чувствует в нас человеческой души, и поэтому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает от ярости народной [2, с. 88–89].

Все дискуссии о душе и судьбе России тревожат тень её великой литературы. Миссия образованных сословий и русская идея, революция и большевизм, просвещение и утопия — клю-

чевые темы нашего общественно-политического развития нового и новейшего времени прочитываются как главы истории российской литературной цивилизации, более или менее социологизированной и психологизированной. Низовая безграмотная масса этой истории что-то вроде фрейдовского Оно, власть — Сверх-Я, а книжная интеллигенция — Я. Олитературенная прослойка зажата между привлекательно-пугающим народом и безжалостной цензурой. Она то пытается посредничать между верхом и низом, то играет самостоятельную партию. В результате — блестящий расцвет литературы, но и переобременённость последней большим числом внехудожественных дел: просвещением, пропагандой, религиозной проповедью, социальным проектом. На какое-то время писания литератора, публициста, агитатора приобретают такой общественный вес, что принимаются читателями за практические указания: как жить, что делать. За периодом распространения альтернативного литературного просвещения следует его отмена в горниле большевистских преобразований. Советская эпоха упразднила промежуточную прослойку в качестве самостоятельной идеологической силы, сохранив её имя за государственными служащими. Функцию просвещения опять монополизирует государство, которое на правах распорядителя старой интеллигенции использует и её литературное наследие.

Отметим два обстоятельства, которые сделали русскую литературу удобным средством тотального государственного просвещения в СССР. Во-первых, инерция реалистических форм социально-обличительных сюжетов и тем. Во-вторых, несоответствие литературного блеска общему уровню письменного образования в стране. Скромность дореволюционных тиражей находится в разительном контрасте с изобилием названий произведений, журналов, издательств, имён авторов. В советские годы соотношение будет обратным: миллионные тиражи при весьма скромном, иногда убогом списке наименований. В советский период массового образования повторится разрыв между элитарной и народной культурами. Правда, на роль элитарных произведений выдвигнутся уже не классические, а малотиражные, полузапретные и запретные вещи. Власть вольно

или невольно удерживает этот «люфт» менторского дистанцирования от просвещаемой массы.

Книжное просветительство почти до конца XX в. даёт основание причислить СССР к поздним письменным цивилизациям. При скачкообразном распространении грамотности отношение значительной части населения к печатному слову было архаичным. Типографский текст был окружён бюрократическим и сакрально-бюрократическим ореолом.

Подчеркнём ещё раз различие в главном механизме художественной индустрии на Западе и у нас. Как известно, западная массовая культура существенно меняет отношения производителя и потребителя, характерные для раннеиндустриальной эпохи. В XX в. элитарное и массовое живут в тесном симбиозе.

В тот самый момент, когда обе стороны, кажется, противопоставлены до крайности в качестве высокой культуры и культуры массы, они сходятся — одна своим вульгарным аристократизмом, а другая вульгарностью, жаждущей *standing'a*... На самом деле антипонятие китча есть преувеличенный китч [3, с. 17].

Эра постмодернизма только подтвердит это старое высказывание о двуподкладочности современного художественного творчества. Работая для массовой публики, эстет не перестаёт быть эстетом. Он только адаптирует своё эстетство для продажи. Коммерция создаёт по крайней мере равенство покупателя и продавца. Но сказанное относится только к рыночному обществу, поэтому уточним наше понимание советской массовой культуры.

Как известно, это словосочетание используется в двух значениях. Во-первых, как название однотипного с коммерческим искусством Запада уклада художественной жизни в СССР. Во-вторых, как синоним государственного производства идеологических ценностей для масс и потребления этих ценностей в нашей стране с 1917 по 1991 год. Поскольку партийный надзор за мировосприятием и свободный рынок идей и развлечений — вещи несовместимые, то выражение «советская массовая культура» как обозначение целостного социокультурного уклада, очевидно, есть *contradictio in termini* — как может быть культура тоталитарного общества массовой, т. е. коммерческой? Выйти

из логического затруднения удаётся, разделив массовую культуру XX в. на коммерческую и тоталитарную. Тогда вместо «или...или» мы получим более гибкое «и ... и». Под советской массовой культурой мы будем иметь в виду тоталитарную разновидность индустрии идей и развлечений, не отрицая, что в реальной культуре СССР соединялись два уклада.

В тоталитарной разновидности сравнительно с коммерческой изменёно отношение производителя и потребителя благ, само действие распределительного механизма. Если в коммерческой можно выбирать свои ценности из конкурирующих между собой источников, то в тоталитарной они распределяются государством. Непрерывность просветительно-воспитательной роли культурной элиты сопровождается непрерывностью средств. Здесь, возможно, лежит культурологическая видовая специфика советского типа художественной индустрии. Художественная литература — один из главных её китов. Что касается других — «из всех искусств для нас важнейшего» кино, радио и подоспевшего к поздней зрелости режима телевидения, то указанная тройка каналов масс-медиа составляет однотипную основу художественной индустрии как на капиталистическом Западе, так и коммунистическом Востоке до эры видео и клипов. Но нигде, кроме, возможно, тихой Исландии, беллетристика не держится столь уверенно среди технических муз, как в самой читающей стране на свете. Она опекается государством и любима народом, её классические шедевры издаются астрономическими тиражами, литературофилия на сцене и на экране приветствует экранизацию, инсценировку и повествование и затрудняет эксперимент с образом.

Возможно, что сравнения с другими национальными модификациями массовой культуры заставят скорректировать эти допущения. Наш первый шаг к тому, чтобы поверить историософию статистикой; — и в данном случае цель исследования — определение количественного состава и хронологических циклов советского массового чтения. Попытка объяснить культурно-исторический тип заставляет помещать его в контекст более широкой традиции. Но понятие традиции слишком идеологизировано. На поверхности истории видится или незаживающий

разрыв 1917 года, или плавное перетекание культурного наследия от предков к потомков. Известный рецепт ухода от публицистики — опуститься от быстрого времени политики к структурам. Для западной исторической науки этот ход старомоден, а в новейшей российской — почти не опробован. Но, поскольку сам по себе математический аппарат слеп, сначала определим теоретические основания исследования.

Ментальность, длительность, парадигма

Отчасти они идут от истории ментальностей. Её основное понятие счастливо встретилось нашим обществоведам, когда ссылки на идеологию, классовое сознание и морально-психологический климат трудовых коллективов стали дурным тоном. Замена нашлась. Начали говорить о ментальности классов, этносов, групп и трудовых коллективов. За несколько перестроечных и послеперестроечных лет термин французских историков (впрочем, именуемый на немецкий лад менталитетом) превратился чуть ли не в главное понятие российской гуманитаристики. Один из авторов статьи имел возможность объяснить, как он понимает ментальность (см. [4; 5; 6]). Здесь мы ограничимся только несколькими замечаниями в целях исследования.

Для того, чтобы слово «ментальность» перестало быть синонимом всего, что угодно, полезно вспомнить обстоятельство его появления в трудах французских историков школы «Анналов» 1940–1950-х гг. Распространение истории ментальностей сопровождалось разъяснениями её авторов насчёт неопределимости их главного понятия:

Слово *mentalité*, означающее ключевое понятие, вводимое Февром и Блоком в историческую науку, считается непереводаемым на другие языки (хотя в английской есть слово *mentality*, а в немецком *Mentalität*), его действительно трудно перевести однозначно. Это и «умонастроение», и «мыслительная установка», и «коллективное представление», и «воображение» и «склад ума». Но, вероятно, понятие «видения мира» ближе передаёт тот смысл, который Блок и Февр вкладывали в этот термин, когда применяли его к психологии людей минувших эпох [7, с. 68].

По словам Ж. Дюби, ментальность — это

система образов, представлений, которые в разных группах или странах, составляющих общественную формацию, сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своём месте в мире и, следовательно, определяют поступки и определения людей. Изучение этих не имеющих чётких контуров и меняющихся со временем систем затруднительно, необходимые сведения приходится собирать по крохам в разных источниках. Но мы были убеждены, что все взаимоотношения в обществе зависят от подобной системы представлений... Вот почему мы предложили систематически изучать ментальность [8, с. 52].

Также полезно вспомнить, под какие исследовательские задачи вводился термин. Во-первых, для обозначения некой антропокультурной реальности. Поэтому он альтернативен понятию психики как обобщению лабораторно-эмпирических действий с индивидом. Ментальные образования надындивидуальны, их время превышает срок человеческой жизни. Некоторые исследователи нового поколения «Анналов», желающие более классического и понятного психологизма по этой причине предлагают избавиться от старой категории, но, как известно, недостаток — оборотная сторона достоинства: у истории ментальностей есть то, чего нет у психологии индивидуальной организации, она придаёт человеческому измерению качество культурно-исторического предмета. Во-вторых, трудно не заметить, что ментальность — эвристическое понятие. Определить статус ментальности и априори дать координатную сетку для её объяснения сложно, взамен этого даётся сфера поиска. Основатели школы «Анналов» были учёными без теоретических претензий. Они искали для своей науки новый предмет. А расширение предмета означало для них новые темы и новые источники. Источники, ими введённые, действительно обогатили и революционизировали историческую науку, и не только потому, что они были совершенно новыми. История ментальностей обосновывает анализ любого типа источников утверждением что везде есть ментальность. Она связана в своих выводах тре-

бованием документальной обоснованности. Эта методическая максима сопрягается с методологической интуицией относительно самостоятельной и глобальной роли материала, в которой записана история.

Иначе говоря, хотя ментальности нельзя дать однозначного социального, экономического, культурологического, политического, психологического определения, — её можно изучать в указанных ракурсах, сохраняя антропологическую ориентацию. Тогда ментальность выступает как человеческое измерение культурно-исторических макромасс, как объективированная человеческая активность в единстве с порождённым ею. При отбрасывании последней части определения термин теряет своё исходное значение. При более профессиональной разработке он может быть конкретизирован определениями. Так, предметом нашей статьи будет письменная ментальность. Её предстоит изучить в собственном времени, которое выступает главной характеристикой. Время неоднородно, оно результирует несколько длительностей.

Естественный для историка шаг более систематизировано распорядиться своей главной реальностью был сделан в школе «Анналов» Ф. Броделем. Ещё до всякой содержательной интерпретации темпоральная координата задаёт направление анализа. Как и его маститые предшественники, Бродель оставил не столько доктрину, сколько отдельные обобщения исследовательского опыта. Работая с глобальными образованиями вроде средиземноморского региона или мировой капиталистической экономики, он прежде всего определял продолжительность существования изучаемого явления.

Длительная временная протяжённость (*longue durée*) даёт масштаб для самых крупных типологических единиц, с которыми приходится иметь дело исследователю. Более дробная ритмика циклов, субциклов и конъюнктур утверждает существование явления в диапазоне своей качественной определённости.

Длительная временная протяжённость — это последовательность возобновляющихся движений с вариациями и возвратными движениями, с ухудшениями, приспособлениями, стагнациями — социологи говорят о *структуриро-*

вании, деструктурировании, реструктурировании... Иногда — редко — случались и крупные разрывы. Промышленная революция определённо была одним из них, но я утверждаю, справедливо или нет, что в ходе этого великого изменения капитализм в основном оставался самим собой. Разве же не было для него естественным правилом сохраняться посредством самого изменения? Он питался им, готовый расширить или сузить свою судьбу до размеров своей оболочки, которая, как мы признали, в любую эпоху ограничивала возможность человеческой экономики, где бы та ни располагалась [9, с. 641].

Долгая длительность суммирует рыночные циклы, демографические волны воспроизводства народонаселения, трансформации символических систем и другие интервалы средней длительности. Антипод медленного времени — быстрая, событийная расчленённость жизни, короткое время.

...Короткое время является наиболее капризной, наиболее обманчивой из длительностей [10, с. 46].

Вычленять ритм письменной ментальности приходится из контрапункта социального времени, раскладывая последнее по регистрам долгой, средней и быстрой длительностей, и здесь важно определить собственные фазы в движении текстуальной массы. Предмет ментальности вырисовывается в соподчинении разных уровней рассмотрения. Для этого один из авторов статьи предложил модель наррадигмы (см. [4]). Адресуя читателя к работе, где изложена эта гипотеза, дадим необходимые пояснения.

Понятие введено в противовес известному науковедческому термину Т. Куна. Попытка приложить куновскую схему парадигмальной науки к гуманитарным наукам не приносит успеха, так как в познании человека соединены две когнитивные линии: естественно-научная (отвечающая критериям нормальности по Куну) и нарративная со своими законами эволюции текстов. Если парадигма сопоставима со специализированной основой когнитивной картины мира, то наррадигма служит не только и не столько интеллекту, она инструментализирует ценностную сторону культуры и личности, показывает человеку отношение к идеалу. Наррадигма — своего рода культурная технология в

действия на человека. Но эта технология «надега» на конкретные судьбы и жизни. Она возникла от «застывания» биографических обстоятельств определённой личности. Используя указанное понятие, авторы пытаются преодолеть дихотомию структуры и личности, поскольку движение именной наррадигмы состоит в социальном использовании материала человеческой жизни и творчества. Последовательность этого использования запрограммирована самим порядком усвоения и распространения продуктов творчества обществом.

Наррадигма — сюжетный первообразец, играющий в повествовательных жанрах такую же роль, как логико-эмпирический образец естественно-научных изысканий. Словесность простирается от простых сообщений и безыскусных попыток самовыражения до рефлексии, критики, самоизучения; ядром ее является литература. Фазы этого движения были расположены так: апокрифическая, каноническая, гуманистическая, гуманитарная, человековедческая. Разумеется, так обозначены не жанры литературы, а переход от собственно письменности к науке о письменности.

Апокриф — это религиозный текст, не допущенный в число священных книг церкви из-за темноты происхождения или погрешностей против ортодоксального вероучения. В более широком смысле — это писания, лишённые культурно-жанрового статуса, на который они претендуют. Претензия имеет некоторые основания, апокриф — это определенное признание, но не легитимация (узаконение) в качестве религиозного или эстетического образца. Наррадигма (собрание «модельных» религиозных, идеологических или художественных книг) составляется долго и тщательно. В литературе за пределами собрания сочинений остаются черновики, произведения спорной принадлежности и не дотягивающие до общепризнанного уровня мастерства данного автора. Апокрифическая фаза наррадигмы — это, с одной стороны, история создания текстуальных образцов, с другой — формирование ценза книжной учености. Еще один момент в складывании показательного нарратива — биографическая легенда, версии отношений автора к произведению и к персонажу. Норма сюжето-

сложений должна отделяться от чрезвычайно многообразных обстоятельств творчества. Письменная фиксация отчуждает читателя от истоков произведения; то, что остается за пределами нормативного консолидируется как апокрифика. Гуманитарное знание, как и естественно-научное, нуждается в умножении источников и фактов, но круг культуры не безграничен, он очерчен фигурами эпонимов, без которых не только обоснованные ими течения мысли, но и более обширные социально-идеологические образования погибнут. Введение новых имен в национальные пантеоны и сокровищницы духа поэтому крайне затруднено. Апокрифика гарантирует некоторый резерв скрытых смыслов и глубины. Апокрифическая фаза дает образцу не только материал, смысловой подтекст, но и сюжетный зачин, предысторию, форму судьбы.

Отметим ещё одно обстоятельство. Европейская писаная традиция охотно берёт в учителя людей, отмеченных печатью страдания, героизма, избранничества. Особенно богата страдательцами, изгоями, бунтарями история русского духа: протопоп Аввакум, Радищев, Пушкин, Лермонтов, Герцен, Достоевский, Толстой — оппоненты царской власти, и без перерыва — Бердяев, Флоренский, Лосев, Бахтин, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Зощенко, Солженицын, Шаламов, пострадавшие от власти советской. Мы намеренно смешиваем здесь писателей, учёных, философов всех направлений. Для апокрифа важен не жанр, а запрет в какой-либо форме, ореол несломленной индивидуальности и вкус преодоления судьбы. Читатель ищет образец преданности письменному занятию, стойкости под ударами рока, будь последний в форме политической репрессии, социальной несправедливости или жизненной превратности. Поэтому в герои апокрифического цикла могут попасть люди вполне благополучные, но прошедшие через трудности самоопределения и непризнания.

Для нашего исследования существенно подчеркнуть, что в России запрет накладывался на имя, личность, идею, мировосприятие; цензура имела даже не полицейски-охранительный, а инквизиционный характер. Различия в характере запретов на Западе и в России породили далеко идущие последствия. В

одном случае появились диагностика и терапия интимных состояний, в другом — огромная масса политически отмеченного бессознательного; там целью книжного знания было рациональное прояснение исходных конфликтов существования, здесь — их затемнение, сохранение объяснений в недрах архива или зашифровывания в подтексте и фигурах эзопова языка. Привычка к тайнописи сама по себе превращалась в национальную тайну и творческий импульс культуры, накладывала печать литературы и общей олитературенности на всякое знание. По тем же причинам, по которым автор в России имел склонность поглощаться своим произведением, освобождение страны мыслилось прежде всего, как освобождение слова, как возможность открыто сказать сокровенное, т. е. как разделение автора и произведения. Несовместимость желаемого результата с основами интеллигентской ментальности выясняется только сейчас. Дело в том, что полная свобода письменного самовыражения противоречит идее жертвенности, которой обязана своей популярностью литература в полицейских странах. Очевидно, что гражданско-политический акцент словесности ослабевает с угасанием нимба жертвенности вокруг произведения и сужения культурной сферы апокрифа, ведь в апокрифике автор сливается не только и не столько с персонажами, сколько с героически-страдательной тональностью своего творчества. Составление писательских синодиков — русская черта — усиливает такую тональность. Мотив освобождения через слово звучит в России, пожалуй, сильнее, чем где бы то ни было. Он не может угаснуть сразу с отменой цензуры и началом коммерческого преобразования литературы во вспомогательное средство психологической компенсации.

Канонизация — оформление корпуса сакральных или классических текстов — замыкает территорию культуры кругом авторитетов. Классика как собрание образцовых (канонических в широком значении слова) текстов-эмблем данного письменного сообщества выдерживается на определенном расстоянии от современности. Художественные и мировоззренческие достоинства должны приобрести вневременной характер, на фоне текучки жизни автор должен достаточно определенно символи-

зировать свои шедевры своим именем, герои — стать примерами для подражания и отрицания. Хрестоматийные фигуры национальных светил оживляются поисками апокрифической изнанки и будоражащих подробностей биографии. Но это перетолковывание классики только оттеняет непреходящие ценности, которые неотделимы от существования этноса или (в случае религиозного канона) — целой цивилизации. Образцовые тексты поддерживают культурную идентичность, они обучают первоосновам письменной ментальности. Книжная нормативность принадлежит к сфере духовного идеала, вот почему в ее определениях смешивается художественное и религиозное. Повествовательный образец-наррадигма своим статусом защищен от каких бы то ни было переделок; этим он отличается от модельных текстов нормальной науки — от учебников. Учебники можно обновлять и перерабатывать, изменение религиозного или художественного подлинника приравнивается к порче сокровищ и святотатству. Академические издания олицетворяют незыблемость духовных устоев нации и человечества, религиозный канон — верное понимание божественного завета: ведь священная книга богодухновенна, т. е. продиктована Богом. Защите образца служат его молитвенные и школьные заучивания, цитатное использование, комментаторское и любительское смакование каждого слова драгоценного текста. Нормализация (распространение единых правил решения задач) и канонизация по-разному служат познанию, создавая в одном случае ум, вышколенный в дисциплине факта, а в другом — искания культурного идеала.

Гуманистическую фазу европейская культура проходила не только в эпоху Ренессанса, но именно Ренессанс придал явлению гуманизма культурно-историческую определенность. В специальном значении гуманизм — это фаза словесной культуры, а гуманисты — почитатели античных авторов, очищавшие любимые вещи от средневековых наслоений и открывавшие забытые произведения. Леонардо и Микеланджело в понимании своей эпохи — не гуманисты, а мастера, близкие к ремесленнику очень высокого класса. Выдвигая против неподвижных канонических форм средневековья гибкость и разно-

образии античной классики, гуманисты отказывались от простого копирования даже самых возвышенных образцов. Гуманистическое воссоздание золотого прошлого заключено в формы соревнования и собеседования с авторитетом. Отсюда сдвиг в наррадигме от неподвижного образца к диалогу посредством текста. Гуманисты охотно обращаются к прошлому, к Богу, к читателю, друг другу; письма — их любимый жанр. Они вводят в словесность мощную струю диалогизма. Канонический автор оживает и превращается в собеседника. В этом смысле и богослов Аврелий Августин гуманист, так как непрерывно беседует с Богом. Пафос обращения к авторитету подогревается тем, что авторитет недоступен и не отвечает. Акцент ученой культуры необратимо сдвинут на письменный текст, словесность становится глубоко личной, обозначается напряженность между потаенным и поверяемым бумаге. И хотя, разумеется, литература вообще невозможна без подтекста, именно гуманизм возводит такое обращение к прошлому, где искусно соединяется ученое и личное в разряд показательных словесных произведений. Письменное «Я» усложняется в результате изобретения способов перемещения личного опыта в текст, разработки умственно-эпистолярного диалога.

Для наступления гуманитарной фазы словесности необходимо, чтобы приемы книжного диалогизма специализировались. Сначала мысль обращена к личности человека или божества, недоступной для прямого контакта. Это — первый такт, пролог гуманитарности, затем —

научно точная, так сказать, паспортизация текстов и критика текстов — явление более позднее (это целый переворот в гуманитарном мышлении, рождение недоверия) [11, с. 474].

Показателем перехода гуманизма в гуманитарность служит появление учебников, предлагающих стандартные приемы для овладения словесным искусством. Таковые распространены на закате Античности и в Европе с XVI века. В этих пособиях тексты используются для получения грамматических, лексических, этимологических, диалектических примеров и правил. Произведение как сюжет исчезает. В прагматизации гуманизма,

прослеживаются и внутренняя логика движения словесности, и влияние эмпирического знания (в Новое время — это естественные науки). Все же гуманитарий не может относиться к своему предмету столь же объективно, как естественник. Происхождение от гуманиста и специфика словесного материала не позволяет окончательно расстаться с нарративными приемами рассуждения. Чтобы избавиться от двусмысленности гуманитарного статуса, нужно сделать последний шаг из словесности и перейти в человекознание.

Человекознание, как последняя фаза цикла, строго говоря, относится уже не к нарративу, а к парадигме. Сюжетность исчезает и в подаче материала, и в стиле мышления. Человек берется как объект исследования, а не персонаж и собеседник. Наука становится монологичной, она стремится перейти от слов естественного языка на формулы, термины, схемы, таблицы, т. е. исключить себя из письменной ментальности.

В нашей статье мы попытаемся придать понятию нарратива конкретно-историческое содержание, а также выявить последовательность нарративного цикла, преимущественно в первых двух фазах.

Советское книгоиздательство в зеркале статистики

Целью эмпирической части нашего исследования было создание тезауруса советской литературы и его предварительный анализ в соответствии с принятыми гипотезами. Подцензурность художественной жизни в СССР и государственный надзор за нею дали возможность составить полный перечень всех художественных публикаций советской эпохи. Мы учли все авторские издания художественной литературы советского периода вне зависимости от их тиража.

Аналитической единицей нашей работы была фамилия автора произведения. Отбирались только тексты, вышедшие отдельным изданием. В эпоху тиражирования книг неопубликованный автор для массовой культуры как бы не существует. Помимо этого, в литературной системе значительно различаются статус случайной публикации (например, отрывка произведения в журнале) и редакторской публикации (в литератур-

ной периодике или сборнике). Публикации в еженедельнике, литературном журнале, сборнике являются первым шагом в движении произведения к массовому читателю.

Объектом изучения в нашей работе стали все авторские художественные публикации, изданные отдельной книгой в 1917–1996 гг. Эти данные были взяты из библиографии русской и зарубежной художественной литературы для взрослых на русском языке, помещённой в Книжной летописи, Библиографическом ежегоднике РСФСР и Ежегоднике книги СССР Государственной Книжной палаты. В итоге оказался проанализированным выпуск художественной литературы для взрослого читателя с 1917 по 1996 гг.

В базу данных было введено более 20000 персоналий, из них более 10000 авторов опубликовали в 1917–1996 гг. одну-единственную книгу. В этой впечатляющей пирамиде, где на последнем месте с одной книгой в руках оказались 10000 человек, а на первом — один писатель с 1029-ю изданиями своих творений, статистический анализ обнаружил безупречное экспоненциальное распределение с основанием 13,89. Таким образом, пропуском в массовую литературу для писателя является 14-е издание его книг. Перешагнуть эту черту удалось 1471 автору, а ниже её осталось 92,7% всех писателей. Издательская пристрастность (каковы бы ни были её причины) становится впечатляющей при рассмотрении тиражей. Её границы для массовой культуры — 130 и 166118782 экземпляра.

Два основных показателя — количество изданий и тираж — характеризуют соответственно продолжительность исторической жизни писателя с советской культуре и степень её представленности, собственно массовость творчества писателя. Надо сказать, что эти характеристики хорошо коррелируют, что, видимо, свидетельствует о достаточной устойчивости советской идеологической политики. Те писатели, которые попадали в официальную номенклатуру, издавались широко и постоянно. Сама возможность достичь таких тиражных вершин обеспечивалась советской идеологией, в которой читательство носило нормативный характер. Приведём общее место из статьи о проблемах чтения эпохи 1970-х гг.:

Буржуазные теоретики относили и продолжают относить чтение лишь к области индивидуальной и даже чисто интимной деятельности человека... Партия всегда рассматривала всё дело книжного обращения и организации массового чтения как составную часть идеологической работы... Чтение является растущей общественной потребностью, обусловленной во всех своих проявлениях социально-экономическими факторами [12, с. 13–14].

Обратимся к количественному, тиражному показателю советской литературной вселенной. Главным будет суммарный показатель 1917–1991 гг. Однако, учитывая издательскую специфику перестройки и постсоветских лет, приведём ранги за 1917–1985 и 1917–1996 гг. Таблица 1 показывает «табель о рангах» авторов советского периода по первым двадцати строкам списка.

Перед нами ядро советской литературы, иерархия, на распределение мест в которой не повлияли даже перестроечные веяния и коммерческие катаклизмы. Центр советской издательской палитры — русская классика, к ней принадлежат трое из авторов, имеющих тиражи более ста миллионов: Лев Толстой, Пушкин и Чехов. Занимающий второе место Максим Горький — дореволюционный писатель, принятый советской литературой в свои ряды и символизирующий для неё преемственность традиции.

Собственно советские писатели довольствуются более скромными тиражами. Сравним с классиками только М. Шолохов (обогнавший его А. Н. Толстой, как и М. Горький, — попутчик из прошлой эпохи). Но даже «лучший из поэтов советской эпохи» В. В. Маяковский занимает 14-е место с тиражом в три раза меньшим, чем у любого из первой тройки. Ещё более скромны позиции главных мастеров социалистического реализма: А. А. Фадеев — 19-е место, Н. А. Островский — 30-е, К. М. Симонов — 36-е, Б. Н. Полевой — 39-е, Д. А. Фурманов — 42-е, Д. Бедный — 70-е место. Парадокс советской культуры: Чехов, Тургенев, Достоевский по тиражам — массовые писатели; С. П. Бабаевский, М. Бубеннов и А. Караваева — элитарные.

Таблица 1
Ранговое распределение авторов по сумме тиражей

Ф.И.О. писателя	Суммарный тираж 1917–1991 гг., экз.	Ранг 1917–85 гг.	Ранг 1917–91 гг.	Ранг 1917–96 гг.
Толстой Л.Н.	165.132.757	1	1	1
Горький М.	119.945.926	2	3	3
Пушкин А.С.	119.983.815	3	2	2
Чехов А.П.	100.034.627	4	4	4
Тургенев И.С.	83.113.570	5	5	5
Гоголь Н.В.	73.321.185	6	7	7
Толстой А.Н.	75.351.435	7	6	6
Шолохов М.А.	69.948.170	8	8	8
Достоевский Ф.М.	66.113.797	9	9	9
Лондон Дж.	51.914.870	10	10	10
Дермонтов М.Ю.	47.726.030	11	13	13
Куприн А.И.	40.965.900	12	16	18
Диккенс Ч.	43.235.975	13	15	16
Бальзак О.	37.490.140	14	18	19
Гончаров И.А.	35.208.800	15	22	23
Шинков В.Я.	40.802.100	16	17	17
Маяковский В.В.	43.709.444	17	14	15
Есенин С.А.	32.894.200	18	24	24
Дюма А., отец	33.698.940	19	23	14
Салтыков-Щедрин М.Е.	49.842.351	20	12	12

Ранжирование по количеству изданий принципиально не изменяет состав литературного ядра (см. табл. 2). Лидером является М. Горький, Л. Толстой переместился на 2-е место, А. Пушкин остался третьим, А. Чехов — четвёртым. Это отражает несколько большие усилия издательского *promotion'a* «великого пролетарского писателя». Дореволюционные классики в этом нуждаются меньше. Не менее энергично издавались А. Н. Толстой и М. Шолохов. Что касается изменений после 1991 г., то читатель может сам сделать выводы.

Таблица 2
Ранговое распределение авторов по сумме изданий

Ф. И. О. писателя	Кол-во изд-й	Ранг	Кол-во изд-й	Ранг	Кол-во изд-й	Ранг
Горький М.	1029	1	961	1	1029	1
Толстой Л.Н.	1012	2	843	2	903	2
Пушкин А.С.	942	3	822	3	871	3
Дюма А., отец	864	4	132	45	343	14
Чехов А.П.	635	5	563	4	606	4
Лондон Дж.	579	6	471	7	501	7
Толстой А.Н.	576	7	490	5	557	5
Тургенев И.С.	527	8	477	6	514	6
Гоголь Н.В.	502	9	460	8	483	8
Шолохов М.А.	454	10	389	9	433	9
Достоевский Ф.М.	387	11	308	13	364	10
Маяковский В.В.	362	12	347	10	362	11
Лермонтов М.Ю.	355	13	323	11	348	12
Салтыков-Щедрин М.Е.	351	14	315	12	348	13
Кристи А.	336	15	4	169	230	23
Пиккуль В.С.	323	16	33	140	167	42
Чейз Д.Х.	322	17	-	-	136	56
Голон А., Голон С.	317	18	2	73	130	63
Некрасов Н.А.	309	19	281	14	302	15
Шишков В.Я.	298	20	212	21	263	17
Короленко В.Г.	297	21	277	15	297	16

Первое знакомство со статистикой позволяет сделать вывод, на который не повлияют последующие уточнения: то, что мы назвали советской наррадигмой, есть классическая русская литература, дополненная её продолжателями после 1917 г. Издательская политика, мягко говоря, не соответствует официальному идеологическому курсу на социалистический реализм. Но, поскольку тиражи — более реальная вещь, чем декларации, то по ним в конечном итоге и следует судить об официальном курсе. Известно, каковы были литературные вкусы Ленина и Сталина. Но дело не только в трогательном пристрастии вождей русского коммунизма к реализму прошлого века. Создаётся впечатление, что базисные слои российской цивилизации в XX в. более автономны от политико-идеологической конъюнктуры, чем обычно принято считать. Эти долгосрочные дрейфы,

выходящие за пределы советской истории, следует рассмотреть вместе со средне- и краткосрочными колебаниями.

Обобщённые показатели 1917–1996 годов описывают качественный состав массового советского чтения, т. е. это кардинальные определения советской ментальности, взятой в своей максимальной длительности. Рассмотрение же по периодам вводит более дробную циклизацию в средней длительности и фактор конъюнктурных колебаний. Введём историко-хронологическое разделение материала и получим понятную последовательность: 1917–27, 1928–40, 1941–53, 1954–67, 1968–85, 1986–91, а также 1992–96.

У каждого из семи этапов свои лидеры книгоиздания (см. табл. 3). В каждом случае список возглавляют русские классики. Исключение — очень пёстрый период 1917–27 гг. с неустойчивой книжной политикой. Отчасти её делают коммерческие издательства (это и даёт высокие ранги Дж. Лондону, М. Зоценко, Г. Монасану, А. Франсу); с другой стороны, на полную мощь работает агитпроп — отсюда третье место Д. Бедного. Но на втором месте — Чехов. Не определивший ещё свои отношения с диктатурой пролетариата М. Горький — на шестом. Пушкин даже не входит в первую десятку. С. Л. Франк в 1923 г. замечает:

...Пушкин мечтал, как Россия «вспрянет ото сна» и «на обломках самовластья» прославит его имя! Реальная Россия, как она есть, на обломках самовластья написала имя — Демьяна Бедного! [13, с. 213].

Однако горечь философа-эмигранта оказалась преждевременной. В сталинском СССР Пушкин опять среди самых издаваемых, и это положение сохранится до конца советской эпохи. Демьян же Бедный — типичный «калиф на час». После 1927 г. его ранг никогда не поднимется выше 29-й позиции.

По качественному составу 1917–27 гг. — предсоветская фаза. Затем до перестройки мы видим нормальную советскую структуру издательских приоритетов.

...школа Толстого безусловно победила в 30-е годы (и победа эта была закреплена в 50-е гг., когда «толстовское»

повествование стало признаком респектабельности — от Симонова до Ананьева [14, с. 251].

Тиражные рейтинги заставляют уточнить высказывание авторитетного литературоведа. В книгоиздательских приоритетах Л. Толстой на некоторое время оттесняется М. Горьким (1928–40 и 1941–53 гг.) и А. Пушкиным (в 1928–1940 гг. на волне юбилейных изданий). «Нормальное советское распределение» верхушки массового чтения таково: Л. Толстой, М. Горький, А. Пушкин, А. Чехов, далее возможны вариации (см. сводную таблицу в примечаниях).

1930-е гг. дают возможность добраться до вершин книгоиздания советским авторам: М. Шолохову, А. Новикову-Прибою, А. Серафимовичу, Н. Островскому, В. Маяковскому, Д. Фурманову, А. Фадееву. Закрепиться на книжном Олимпе смогут только М. Шолохов и В. Маяковский. Интересно, что другие советские писатели первого ряда вновь появятся в числе тиражных лидеров только в перестроечные годы.

Некоторые нюансы в советскую издательскую палитру вносит оттепель 1950–1960-х гг. В классической российской четвёрке подвижка: Л. Толстой по-прежнему первый, Пушкин третий, а вот А. Чехов, как и до укоренения советского канона, второй. До четвёртой позиции поднимается И. Тургенев. М. Горький только на девятом месте. Обойму национальных классиков разбавляют их зарубежные современники Э. Золя, О. Бальзак, Ч. Диккенс; попали в первую двадцатку Т. Драйзер, М. Твен, Д. Голсуорси. Но где же авторы хрущёвской оттепели, начинающие новый, «давно предошущаемый цикл литературного развития» [14, с. 262]? Их место за пределами первой двадцатки и даже сотни; в журнале, альманахе, сборнике. Очевидно, что они не вошли в массовое чтение, а предназначены для относительно узкой аудитории. Долгая письменная ментальность более инерционна, консервативна, чем тенденции литературного развития. Только В. Кожевников с развед-эпопеей «Щит и меч» пробьётся в клуб многотиражных патриархов.

Брежневская эпоха расставляет верхушку по традиционному советскому ранжиру: Л. Толстой, А. Пушкин, М. Горький,

А. Чехов. Новации таковы: на пятой позиции оказывается Ф. Достоевский; А. Дюма-отец и С. Есенин — дань «мещанским вкусам» — попадают в избранный круг. В общем, 1968–85 и 1941–53 гг. — самые классикололюбивые эпохи советского периода.

Картина перестроечного времени переключается с книжной конъюнктурой 1917–27 гг. Она тем запутаннее, что подведение и пересмотр советских итогов сочетается с проявлением иных письменных ментальных линий. Перестройка, подобно всякой реформации, начинала с герменевтики, с «правильного» чтения своих священных книг, с очищения от «искажений». Это коснулось как марксистского канона, так и художественной литературы. Официальная линия смешивается со струёй читательских предпочтений «снизу». В классической страте происходит омассовление И. Бунина и М. Булгакова, Т. Драйзера и В. Гюго; в тройку лидеров входит критик российской бюрократии М. Салтыков-Щедрин. Растёт массовость Ильфа и Петрова (45-я позиция в 1968–85 гг., 29-я — в 1986–91-х). В том же русле переоткрываются, легализуются, переиздаются диссиденты, репрессированные, писавшие в стол. Но А. Ахматова, О. Мандельштам, А. Солженицын, А. Платонов, укрепляясь в положении классиков русской литературы, не становятся советскими тиражными классиками. Поиски неискажённого социализма и революционной романтики подняли на пятое место В. Маяковского, позволили А. Фадееву опередить А. Пушкина и М. Горького, передвинули Б. Лавренёва с 65-го на 32-е место. В те же годы — первый разлив несветской массовой культуры с коммерческим ажиотажем вокруг переоткрытых бестселлеров приключений, детектива, фантастики, мистики, эротики, порнографии. Авангард этого потока уже приблизился к тиражным вершинам: А. Дюма — 28-е место, В. Пикуль — 35-е, А. Кристи — 64-е, А. и С. Голон — 66-е.

Это — лидеры коммерческого книгоиздательства 1992–96 гг. Классика ещё сохранится на призовых местах, но очевидно, что галактике Гутенберга по-советски пришёл конец.

Таблица 3. Двадцать лидеров книгоиздания по тиражам в 1917–1996 гг.

	1917-27 гг.	1928-40 гг.	1941-53 гг.	1954-67 гг.	1968-85 гг.	1986-91 гг.	1992-96 гг.
1	Лондон Дж.	Горький М.	Горький М.	Толстой Л.	Толстой Л.	Толстой Л.	Дюма А., отец
2	Чехов А.	Пушкин А.	Толстой Л.	Чехов А.	Пушкин А.	Драйзер Т.	Пиккуль В.
3	Бедный Д.	Горький М.	Пушкин А.	Пушкин А.	Горький М.	Салтыков-Щедрин М.	Чейз Д.Х.
4	Серафимович А.	Чехов А.	Чехов А.	Тургенев И.	Чехов А.	Гюго В.	Дойль А.К.
5	Зоценко М.	Шолохов М.	Гоголь Н.	Золя Э.	Достоевский Ф.	Маяковский В.	Верн Ж.
6	Горький М.	Лондон Дж.	Тургенев И.	Бальзак О.	Тургенев И.	Бунин И.	Лондон Дж.
7	Салтыков-Щедрин М.	Гоголь Н.	Лермонтов М.	Диккенс Ч.	Толстой А.Н.	Булгаков М.	Мопассан Г.
8	Толстой Л.	Тургенев И.	Короленко В.	Шолохов М.	Гоголь Н.	Толстой А.Н.	Пушкин А.
9	Тургенев И.	Салтыков-Щедрин М.	Салтыков-Щедрин М.	Горький М.	Шолохов М.	Фадеев А.	Кристи А.
10	Мопассан Г.	Новиков-Прибой А.	Островский А.	Лондон Дж.	Дюма А., отец	Пушкин А.	Шекспир В.
11	Пушкин А.	Серафимович А.	Шолохов М.	Толстой А.Н.	Лондон Дж.	Горький М.	Бальзак О.
12	Гоголь Н.	Островский Н.	Толстой А.Н.	Кожеников В.	Куприн А.	Шишков В.	Шишков В.
13	Достоевский Ф.	Лермонтов М.	Маяковский В.	Гоголь Н.	Лермонтов М.	Достоевский Ф.	Шолохов М.
14	Короленко В.	Уэллс Г.	Некрасов Н.	Куприн А.	Гончаров И.	Шолохов М.	Твен М.
15	Уэллс Г.	Маяковский В.	Гончаров И.	Уэллс Г.	Есенин С.	Серафимович А.	Толстой Л.
16	Франс А.	Некрасов Н.	Мамин-Сибиряк Д.	Драйзер Т.	Шишков В.	Лондон Дж.	Сименон Ж.
17	Шишков В.	Толстой А.Н.	Куприн А.	Твен М.	Диккенс Ч.	Грин А.	Золя Э.
18	Толстой А.Н.	Короленко В.	Симонов К.	Достоевский Ф.	Маяковский В.	Диккенс Ч.	Кожеников В.
19	Некрасов Н.	Фурманов Д.	Крылов И.	Голсуорси Д.	Роллан Р.	Тургенев И.	Беляев А.Р.
20	Крылов И.	Фадеев А.	Фадеев А.	Шишков В.	Островский Н.	Чехов А.	Голон А. и С.

Массовая литература в долгой, средней и быстрой длительностях

Перейдём теперь к исторической динамике изданий. Напомним, что мы выделили три временных цикла: медленную, среднюю и быструю длительности. Время существования русской письменной традиции — около тысячелетия. Собственные размеры этой долгой длительности исчисляются этапами литературного или языкового развития (древнерусская литература, новая русская литература, советская, постсоветская). Рискнув назвать массово-литературный слой отечественной культуры 1917–91 годов советской наррадигмой, мы тем самым предполагаем какую-то сюжетно-стилевую общность наиболее печатаемых произведений. По персоналиям советская наррадигма оказывается толстовско-горьковско-пушкинской (перестановки в списке или его расширение непринципиальны). Такое именование даёт литературоведческий ключ к указанной общности, однако мы уклонимся от обсуждения соответствующих вопросов, поскольку наша работа не литературоведческая. Письменная цивилизация на русском языке, как и любая другая, воспроизводит себя сочетанием изменения и традиции, подразделяясь на периоды. Их внешние, социальные рамки накладываются на логику собственного движения нарративной материи в социальном времени. Мы называем цикл легитимации художественно-повествовательного творчества наррадигмой и относим последнюю к средней длительности. Что бы ни происходило с государствами, политическими режимами и странами, как бы ни бушевали войны и революции, — текст, чтобы он стал культурным фактом, надо придумать, написать, опубликовать, распространить и т. д. Общество может ускорять, замедлять или временно блокировать это движение, иначе говоря, кодировать текстуральный процесс в событиях социального времени, но, чтобы отменить объективацию произведения, — оно должно произведение уничтожить.

Ещё одно замечание относительно счёта долгой длительности по наррадигмам. Существуют вечные имена и книги. Очевидно, что Античность без Гомера, христианское средневековье без Библии, Италия без Данте, Англия без Шекспира утратят

свою культурную идентичность. Означает ли это, что цикл признания для эмблематических текстов цивилизации растягивается на столетия и тысячелетия? Утвердительный ответ абсурден. Логично другое. Такие произведения-символы срastаются со своей цивилизацией и живут столько, сколько живёт она; они проходят не одну наррадигму. Видимо, пушкинский, толстовский, Достоевский, чеховский циклы полинаррадигмальны. Они продолжают, пока Россия сохраняет свою идентичность и новые поколения открывают для себя сокровища национального духа. Остаётся надеяться, что другие участники культурного дела не будут подмяты гранитным монументом государственной классики, как в советскую эпоху. Что касается произведений 1917–91 гг., то большая часть их ещё не была востребована во второй раз хотя бы по хронологическим причинам и проходит (уже прошла) первый цикл социокультурной легитимации. Ограничится ли их судьба мононаррадигмальным циклом или они выйдут за пределы средней советской длительности — покажет только следующая эпоха письменной российской цивилизации.

Остаётся сказать о соотношении долгой, средней и быстрой (конъюнктурной) длительностей. Средняя длительность размечена сменой художественных направлений, стилей, школ. Её единицы человекомерны, поскольку построены на продолжительности жизни писателя и читателя. Западная социология литературы предлагает счёт на поколения. Для нашей истории этот эволюционный принцип затруднён избытком судьбоносных дат — 1905, 1917, 1941, 1953, 1985, 1991 — которые смешивают логику культурного процесса. Но, повторим, антропологическая размерность сохраняется, и это проявляется, например, в значении календарных дат. Юбилеи — вообще важное средство культурной легитимации, а в СССР особенно. Эти индикаторы средней длительности подвержены конъюнктурной порче: круглые даты могут пропускаться, а некруглые отмечаться. Здесь мы приближаемся к быстрому, конъюнктурному времени. Оно исчисляется сроками самих индивидуальных событий. Судьба книг и людей в СССР слишком часто зависела от каких-то дуновений в политической розе ветров. Удачно

родившийся В. Короленко получил свой юбилейный тираж в 1953 г., а вот А. Чехов к своему 100-летию таким подарком не почтён. Советская издательская стратегия поддерживает классическую обойму регулярными публикациями, давая юбилейные пики. Таковы, например, юбилейные гоголевские тиражи 1929, 1939, 1959, 1979 и 1984 гг. Издательский вес А. Пушкина поднят мероприятиями к столетней годовщине гибели поэта (пик растягивается на 1935–38 гг.), а также чествованиями 1949, 1969, 1974, 1989 гг. В юбилейной судьбе Л. Толстого возвышаются пики 1928, 1948–53 и 1977–81 гг. Примеры можно умножать, но более важно обнаружить в этих движениях какую-то закономерность.

Как рисуются колебания письменной ментальности, вычлененные из контрапункта социального времени, если их разложить по регистрам долгой, средней и быстрой длительностей? Наш ментальный объект возникает из соподчинения разных уровней рассмотрения. Тиражная кривая может скрывать качественно различные фазы наррадигмы, смешивать циклы различной временной протяжённости. Долгая длительность классической русской литературы воспроизводит себя посредством новой власти, взявшей на вооружение наследие старой культуры. Новые советские писатели только начинают свою жизнь «с нуля». Применяя гипотезу наррадигмы, можно сказать, что одновременно протекают полинаррадигмальные циклы классики в долгой длительности и мононаррадигмальные советских писателей, судьба которых ограничена только несколькими десятками лет советского режима. Разделить этот спектр можно, исходя из последовательности наррадигмальных фаз. Для этого придётся рассмотреть именные наррадигмы главных персон литературной цивилизации России. Применение нашего метода, очевидно, должно состоять в описании циклов культурной легитимации главных национальных авторов. Однако это задача специальной статьи.

Литература

1. *Besancon A.* The Soviet Syndrome. N. Y., 1978.
2. *Вехи.* М., 1991.
3. *Morin E.* L'esprit du temps. Essai sur la culture de masse. P., 1962.

4. Шкуратов В. А. Историческая психология. 2-е изд. М., 1997.
5. Шкуратов В. А. Психика. Культура. История. Ростов-на-Дону, 1990.
6. Шкуратов В. А. Универсалии культуры и персональное бытие человека // Психологический вестник РГУ. 1997. № 2.
7. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
8. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции // Одиссей. Человек в истории. М., 1991.
9. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV XVIII вв. Т. 3. М., 1992.
10. Braudel F. La longue durée // Annales; E.S.C. 1958. № 1.
11. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
12. Чубарьян О. С. Исследование чтения и читателей в системе социальных наук // Проблемы социологии и психологии чтения. М., 1975.
13. Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Новый мир. 1990. № 4.
14. Чудакова М. Сквозь звёзды к терниям. Смена литературных циклов // Новый мир. 1990. № 4.

ПОЭТИКА РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КИТЧА

Г. А. Кириллова

Ростовский государственный университет

«Россия — это страна, где все время пугаются жанры», — прощито заметил В. Шендерович («Огонек», №46/98). Справедливость утверждения подтверждается самой логикой перехода от одной массовой культуры к другой: от тоталитарной к коммерческой. Формы понимания, заданные бюрократизированными идеологемами государства, изменены в соответствии с канонами поп-культуры и навязчиво предлагаются гражданину-обывателю: стремительно обновляются способы конструирования социальной реальности. Наблюдается передел влияния в основных медиативных пространствах, однако абсурдность подачи информации осталась прежней: государственный театр сменился всемирным видео, где в качестве главных героев легкого жанра задействованы высшие чиновники и политики, вытеснившие безобидного рабочего и колхозницу.

Дискредитация государственного канона вызвала активное обращение к апокрифу: на перестроечной волне негативной правды и разоблачений произошел выброс большого массива неизвестного. Сегодня десакрализация и персонализация — определяющие характеристики российского политического дискурса. Власть, лишённая тайны и статуса безличного принципа, перестала быть генеральным означающим. «Процессы сигнификации не могут быть отделены от идеологии» [1]. Государство потеряло право на монополию в трансляции идеологических схем. И как следствие возникло обесценивание государственного высказывания и падение авторитета власти. («Чиновники пишут документы, которые не вдохновляют», — вполне корректно отметил некорректный Жириновский («Сегодня», 17 февраля 1998).) Это позволило другому кандидату в генеральные означающие — массовой культуре — перекодировать государственное пространство на свой лад, описывая власть и ее представителей.

СМИ рассказывают «истории» о политической жизни в стране. Они «дают нам то же, что и литература: сюжет, место